

Наши интервью: над чем работает писатель?

Живая память

Наш земляк — писатель Виталий Александрович Закруткин, лауреат Государственных премий СССР и РСФСР, секретарь правления Союза писателей РСФСР, работает сейчас над книгой на антивоенную тему: «На Золотых песках». Поводом для сюжетной линии произведе-

ния послужили личные встречи писателя, впечатления от пребывания в Народной Республике Болгарии.

Сегодня по нашей просьбе журналист Г. Губанов беседует с В. А. Закруткиным.



— Виталий Александрович, вы не раз подчеркивали, что об этом говорят и ваши произведения, что для вас главные темы — человек в трудных созидательных хлопотах на земле и человек на войне, его ртутные подвиги ради жизни на земле...

— В сущности против этого нет возражений. Но если задуматься, то тема у меня всю жизнь одна: человек, его жизнь и смерть, борьба добра со злом, воспитание духа и испытание его на прочность... Во время проводов на фронт мои друзья вручили мне необычную самодельную книгу в кожаном переплете. В ней оказалась тысяча стра-

ни... чистой белой бумаги. При этом дали наказ: «Вернись за полной». В моем доме в полковой сумке и поныне хранится эта книга с фронтовыми записками...

— В какой-то мере — это и родник материалов-воспоминаний, и источник вдохновения!

— Могу сказать конкретней: оттуда берут начало книги «Кавказские записки», «Дорогами большой войны» и даже некоторые главы «Сотворения мира». Иногда сожалею, что пока лишь часть материалов дневника опубликована. В «Сотворении мира» я взял на себя смелость поднять большой исторический пласт — от граж-

данской войны до мирных дней уже после Великой Отечественной, потому что хотел многое сказать о своем времени и своем поколении. Сделать это могла позволить мне, конечно, только «глобальность» замысла.

— Проходят годы, десятилетия, но не уходит в запас тема Великой Отечественной войны.

— Да, это так.

— А почему писатели все возвращаются и возвращаются к ней?

— К теме освободительной войны, и подвигу народному обращаются уже многие годы не только писатели-ветераны

войны, но и молодые литераторы, совсем не нюхавшие пороха. И тут, на мой взгляд, нет никаких особых секретов привлекательности: люди хотят открыть для себя истину, многое уяснить и заново осмыслить именно теперь, когда в воздухе сгустились тучи ядерной катастрофы. Вспомним: так было и в тридцатые годы, когда очень много писали о гражданской войне. Не боюсь еще раз повторить: война меня сделала писателем. Там я видел взлеты, а иногда и падения духа, людские слезы и скупые радости. Там, на военных дорогах, познал внутренний мир стольких человеческих душ и судеб...

— Вы нередко выступаете в периодической печати, являетесь многие годы депутатом Советов. Не мешает это вашей литературной работе?

— Откровенно говоря, такое «совмещение» — дело хлопотное. Может, оно и отнимает время, силы в ущерб романам и рассказам. Но я никогда не чувствовал публичности и такой возможности, когда с помощью, скажем, газеты можно поставить и решить какой-нибудь жизненный вопрос. Итоги всех таких вмешательств как писателя, как депутата и вообще как человека за долгие годы говорят: ничего не потеряно. Наоборот, я много приобрел, что потом отразилось и в «Плавучей станции», и в «Сотворении мира»... Так что такие общения — это писательский поклон ниве, труду и землякам...

— Нельзя ли считать новую повесть «На Золотых песках», над которой вы работаете, как ваш некоторый новый возврат к военной теме?

— Я бы уточнил: не к самой теме как таковой. Мне хочется поставить проблему гораздо шире. На мой взгляд, наша литература еще недостаточно полно осознает остроту нынешнего момента, трагичность угрожающей ядерной ката-

строфы, реальную ее возможность. К повести «На Золотых песках» я взял три эпиграфа разных эпох страшного опустошения земли — Лукреций, Тютчев, Баратынский. Разные эпохи — суть одна. Но то, что грозит сегодня нашей планете, страшнее Апокалипсиса. С возмущением и тревогой, всеобщим протестом против угрозы ядерной смерти встают честные люди всей земли. Что касается меня, то я неизменно считаю себя солдатом мира... Если я люблю свою землю, люблю деревья и колосья, цветы, женщин и детей — люблю жизнь, значит, я должен за нее бороться тем оружием, каким владею. И думаю, нет сегодня более важной темы для меня как писателя. Вот почему я уже два года работаю над повестью об угрозе термоядерной войны, хочу раскрыть тревогу инстинктивного человеческого отвращения к войне и смерти и стремление к свету, справедливости и разуму...

Г. ГУБАНОВ.
Собственный корреспондент «Известий» специально для «Молота».

Предлагаем вниманию читателей отрывок из повести «На Золотых песках», которую В. Закруткин заканчивает в этом году.

Виталий Закруткин

На Золотых ПЕСКАХ

ОТРЫВОК ИЗ ПОВЕСТИ

В болгарской столице Александр Михайлович бывал несколько раз, он любил широкие улицы Софии, леса новостроек, чистые, на диво ухоженные бульвары, зеленые парки с тенистыми аллеями, купола старых церквей и соборов, овеянную призрачной дымкой вершину горы Витоша — излюбленное место отдыха и праздничных гуляний не только горожан, но и едва ли не всех гостей столицы.

По приезде Христо Рогозаров сразу же устроил своих спутников в отличной гостинице «Рила», расположенной в центре города, и, прощаясь с ними, сказал:

— До завтра вы, дорогие друзья, свободны. Остаток дня в полном вашем распоряжении. Можете погулять, посмотреть, если есть желание, музеи, или еще открыты. Я же прошу извинить меня, но мне с Федором Федоровичем надо покинуть вас, чтобы договориться со своими коллегами о товарище Медведеве.

Когда Рогозаров и Кузнецов ушли, Катрин Харт достала из сумочки изданный на английском языке «Путеводитель», полистала его страницы и, обращаясь ко всем, попросила:

— Мне очень хотелось бы побывать в соборе Александра Невского. Там выставлено замечательное собрание древних икон. Вроде бы есть даже иконы древне-византийского письма. Давайте сходим посмотрим.

— Я бы предпочел пообедать, — проворчал Харт.

Однако Гейер с Алиной и Александр Михайлович поддержали Катрин, заверив Харта, что по возвращении из музея они все вместе поедят в ресторане своей гостиницы.

Отправились пешком. Расспросив обительных прохожих, узнали, что собор совсем недалеко.

— Я ведь бывал в Софии, и предупредил вас, что дорогу к собору знаю, но вы почему-то не поверили мне, — укоризненно сказал Александр Михайлович.

Харт шутливо погрозил ему пальцем, ухмыльнувшись:

— Э-э, мистер Медведев, только наивные простаки могут верить коммунистам. Вам попробуй поверь, так вы сразу заведете нас в какое-нибудь бесклассовое общество.

Выставка еще не закрылась, хотя перед концом дня посетителей было не так уж и много. В расположенных под собором обширных подвалах с низкими сводчатыми потолками было прохладно и тихо. Чтобы не беспокоить друг друга и никому не мешать, люди разговаривали шепотом. Яркое электрическое освещение давало возможность внимательно рассмотреть каждую икону, даже самую малую, потемневшую от времени. Все иконы — одни без рам и без окладов, другие — обрамленные, с окладами — возле каждой белели объяснительные таблички, причем располагались они по векам, начиная от самых древних и кончая поздними, что позволяло понять историческую последовательность в развитии болгарской иконописи.

На иконах безымянные

мастера изображали боготца, святую троицу, боготца, рождение и казнь Иисуса, архангелов, святых, евангелистов, мучеников, страстотерпцев, пророков. Больше всего изображений было посвящено Богородице, названной разными именами — «Одигитрия», «Милующая», «Великая Панагия», «Умиление». Тут можно было увидеть сцены страшного суда и Голгофы, Иисуса страдающего и его же в виде судящего грешников Пантократора, «Тайную вечерю» и вознесение воскресшего спасителя на небо.

Писанные на дереве и на полотне, иконы были темные, с выцветшими красками коричневыми, багряными, голубыми и золотистых тонов, неумолимое время наложило на каждую икону свою печать — источило дерево, затерло, выбелило полотно. Казалось, что даже сейчас, когда прошло много веков, от множества икон струился запах ладана и воска, свечной копоти и разогретого масла, таинственный запах старины, порождающий мысли о бренности и краткости человеческой жизни.

Несколько девушек-гидов водили по залам небольшие группы посетителей, но Александр Михайлович не любил торжественности, ему надо было постоять перед какой-нибудь поразившей его иконой, подумать, и потому он добровольно взял на себя обязанность гида и в меру своих знаний, тихо заговорил о древних связях восточных славян с Византией, о распространении христианства, о всемирных соборах в Константинополе, о русско-болгарских отношениях, о церковных догматах, обо всем, что, как ему казалось, должно было помочь его спутникам понять замысел и стиль старых иконописцев.

Вынув из сумочки изящный блокнот с позолоченной ручкой, Катрин Харт что-то записывала, остальные ходили молча, даже дети притихли.

Когда досмотрели все до конца и вышли из прохладного подвала, залюбовались теплым августовским предвечерем: заходило солнце, небо сияло оранжевым и розовым светом, радужно сверкали струи фонтанов, в кроны деревьев заливалось пересвистывались скворцы.

— Знаете, господа, я устал, — признался Гейер, — давайте-ка посидим немножко в парке, вот он почти рядом. Фрейлин Алина выбрала вблизи от фонтана свободную скамейку, пригласила всех садиться. Джоан с Кристофером пошли осмотреть парк. Курт Гейер долго раскуривал сигару, покашливал и, наконец, не выдержав, повернулся к Александру Михайловичу и заговорил, осторожно подбирая слова:

— А так вот, уважаемый регимент-камерад, извините, пожалуйста, но я не могу не поделиться с вами теми мыслями, которые возникли у меня в связи с выставкой икон, кстати, весьма интересной и обширной. Что такое православная церковь и ее догматы, я примерно знаю. Поэтому мне понятно стремление древних иконописцев воспевают аскетизм, умерщвление грешной плоти, пол-

ное отрешение от всего земного и тому подобное. Поглядите на все эти бледные, изможденные лица всяческих святых, на их строгие, укоряющие вас глаза: так и кажется, что они как бы говорят вам: «Отстранись от плотской любви, от чревоугодия, от греховных желаний, думай только о царстве небесном, и тогда тебе, праведнику, будет уготована вечная жизнь в господнем раю».

Рот Гейера искривила издевательская усмешка, и он продолжал говорить, похихивая сигарой:

— Но не кажется ли вам, господин Медведев, что аскетическая Византия сыграла с вами, представителями революционной России, плохую шутку?

Александр Михайлович удивленно посмотрел на Гейера, пожал плечами:

— Из чего это видно?

— А вот из чего, — не скрывая насмешки, сказал Гейер. — Посмотрите на вашу живопись, вашу скульптуру, вчитайтесь, в конце концов, в ваши романы, повести, поэмы. Ведь ваше советское искусство — это сплошное подражание византийским аскетам. Где у вас можно найти чисто человеческое восхищение гармоничным, прекрасным телом обнаженной женщины? Вы отвернулись от живой жизни, подобно монахам-затворни-



кам. Вы затянули, закопали женское тело в железобетонный комбинезон. Подобно евангелистам, вы словно хотите заверить ваших зрителей и читателей, что советские дети рождаются от непорочного зачатия, как это было с пресвятой девой Марией. Тихо, конечно, но весьма настойчиво вы пытаетесь превратить ваших мужчин в евнухов, а женщин в этаким заколдованный в бетон безгрешный призрак. Мне, например, дорогой регимент-камерад, из ваших же газет известны факты, когда целомудренные критики публично секли словесными розгами поэтов, осмелившихся в любовных стихах упоминать о бедрах, животах или, как сказали бы евангелисты, о розовых сосцах своих возлюбленных. Конечно, мы, несправимые капиталисты, зачастую отвергаем такую безжалостную кастрацию искусства, а вы, травоядные сторонники социалистического реализма (Гейер с особой едкостью подчеркнул последнее слово), не понимаете. Вернее, не хотите понять, что ника-

кого реализма в вашем искусстве нет, а есть лишь косный византийский аскетизм.

— Что же, уважаемый доктор, эти странные домыслы, на которые, очевидно, мне необходимо ответить, и являются причиной вашей вражды к нам? — не без грусти спросил Александр Михайлович.

— Нет, нет, почему же вражды? — возразил Гейер. — Просто у нас с вами, господин Медведев, разные взгляды на предназначение искусства. Вы, например, превратили все виды искусства в этакую агитационный плакат, а мы считаем это примитивом.

Сэмюэл Харт с видом заговорщика переглядывался с женой, незаметно подмаргивал ей, но в разговор не вступал.

— Видите ли, доктор, — задумчиво, с паузами, заговорил Александр Михайлович, — у нас живописцу, скульптору, писателю, музыканту не возвращается свобода избирать любую тему. Понимаете, любую, в том числе и тему сугубо земной, плотской любви, ревности, измены. Никто не запрещает художнику, хотелось бы добавить — истинному художнику, воспевать и столь волнующее вас женское тело, но при одном непременном условии, чтобы в этом художническом песнопении не было ни грани пошлости, болезненного смакования «клубнички», оскорбительниц и для женщины истечения слюны, чтобы даже намека не было на распутство, цинизм, публичную, на показ, безнравственность, ведь от всего этого до слегка замаскированной порнографии один шаг.

Александр Михайлович недоверчивым взглядом окинул спокойно слушающего его Курта Гейера и добавил глухо:

— Кроме того, доктор, с благословения ваших больших и малых фюреров гитлеровцы дали нам ужасную возможность, причем дали даже детям, созерцать прекрасные тела обнаженных женщин. Мертвые тела. Слышите, доктор? Мертвые. И было этих тел великое множество, и все они были окровавлены, изрезаны, затоптаны солдатскими сапогами. Они, слетаясь в предсмертных объятиях, грудами были навалены в противотанковых рвах, они раскидывались на виселицах, полузасыпанные снегом.

Он замолчал, посидел, долго пытаясь дрожащими руками вставить сигарету в отверстие мундштука, закурил и сказал с вымученной улыбкой:

— Вы, уважаемый доктор, опровергая мои слова, можете ответить, что мы с вами говорим о разных предметах, что множество мертвых, изуродованных смертью женщин — это тоже «агитационный плакат», что он далек от искусства и может стать только документом обвинения.

— Что же еще? — спросил Александр Михайлович. — У нас с вами, господин Медведев, еще будет время поговорить о многом, — сказал Гейер. — Например, о ваших коммунистических взглядах на право собственности, о колхозах, о нацизме или отсутствии истинной конкуренции в среде советских промышленников, о так называемом социалистическом планировании, о качестве вашего строительства, о многом, что, мне кажется, будет поважнее, чем лишенные одежды фигуры обольстительных красоток...

Взглянув на часы, Сэмюэл Харт с выражением шутливого отчаяния поднял руки, промчался плавно:

— Вы как хотите, спорьте хоть до утра, а я больше не могу. Не доводите меня до голодной смерти. Предлагаю немедленно идти ужинать. Он позвал детей, и все отправились в гостиницу. Уже сидя за столом в ресторане, почувствовали усталость. Только непоседливая Джоан бродила по залу, рассматривала цветные витражи, сверкающие люстры, разло-

Позвольте, однако, с вами не согласиться. Подобный, с вашей точки зрения, «плакат» не забыт миллионами наших людей, он, безусловно, являет собою предмет самого трагического искусства; он — предостережение для всех, кто сегодня, подобно страусу, прячет голову в песок и не хочет замечать нависшей над миром чудовищной опасности...

Курт Гейер тоже начал нервничать. Резким движением он отшвырнул недокуренную сигарету и, перебивая Александра Михайловича, сказал с упреком:

— Подождите, господин Медведев. Предлогом для нашего с вами диспута об искусстве послужила лишь выставка древних икон и ничего больше. Все, что я говорил, отнюдь не является воплощением вражды к России, к Советскому Союзу. Совсем недавно там, на Золотых песках, мы условились, что будем честно и откровенно говорить друг другу обо всем, что в какой-то мере нас разъединяет. Почему же я не могу сказать вам о каком-то византийском, почти религиозном аскетизме вашего советского искусства?

— Да, но вы меня перебили, — уже спокойнее сказал Александр Михайлович, — я не договорил того, о чем думал. Понимаете, уважаемый доктор, никому, в общем, не запрещая изображать наших ткачих, колхозниц или, допустим, учительниц в виде Данай, прелестной Леды, спящей Венеры, — это, конечно, если бы вдруг нашелся такой любитель античности, — мы тем не менее считаем, что подобный анахронизм вряд ли мог бы стать генеральной темой искусства в тревожную, чрезвычайно опасную пору межконтинентальных баллистических ракет, нейтронных бомб, начиненных чумными бактериями контейнеров, всего, что грозит смертью всем без исключения людям...

Он окинул взглядом понурого сидевшего Гейера и добавил, смягчая голос:

— Все же, доктор, вы, я в этом уверен, согласитесь со мной в том, что изображение обнаженной женщины — это в наше время отнюдь не самое главное. По моему, современные натурщики помогают начинающим живописцам только при изучении анатомии человека.

Мрачно сдвинув брови, Гейер кивнул:

— Да, возможно. Есть вещи поважнее. Но это и не самое главное в наших расхождениях.

— Что же еще? — спросил Александр Михайлович. — У нас с вами, господин Медведев, еще будет время поговорить о многом, — сказал Гейер. — Например, о ваших коммунистических взглядах на право собственности, о колхозах, о нацизме или отсутствии истинной конкуренции в среде советских промышленников, о так называемом социалистическом планировании, о качестве вашего строительства, о многом, что, мне кажется, будет поважнее, чем лишенные одежды фигуры обольстительных красоток...

Взглянув на часы, Сэмюэл Харт с выражением шутливого отчаяния поднял руки, промчался плавно:

— Вы как хотите, спорьте хоть до утра, а я больше не могу. Не доводите меня до голодной смерти. Предлагаю немедленно идти ужинать. Он позвал детей, и все отправились в гостиницу. Уже сидя за столом в ресторане, почувствовали усталость. Только непоседливая Джоан бродила по залу, рассматривала цветные витражи, сверкающие люстры, разло-

женные в хрустальных вазах красноречивые бархатистые персики. Александр Михайлович попытался было отказаться от ужина, сославшись на головную боль, но Харт чуть ли не силой потащил его с собой.

— Нет, нет, мистер Медведев, — закричал он, — нам без вас будет скучно. Кроме того, вы можете заподозрить представителей Запада в том, что они устраивают нелегальные встречи на союзной вам болгарской территории.

— Это вы напрасно, — отмахнулся Александр Михайлович, — а если сказать по правде, доктор Гейер и вы ставите меня в неловкое положение тем, что не даете мне распахиваться за свою долю съеденного и выпитого, а я, извините мою грубоватость, не хочу быть иждивенцем.

— Тем более иждивенцем капиталистов? — Харт засмеялся.

— Впрочем, если это вас шокирует, мы готовы отказаться от своей назойливости.

Пожурились быстро и разошлись по своим комнатам, вежливо пожелав друг другу спокойной ночи и приятных сновидений.

Прежде чем лечь спать, Александр Михайлович вынес на балкон стул и долго сидел в глубокой задумчивости. Ему была знакома и эта фешенебельная гостиница, и небольшая площадь перед ее фасадом, и квадратный, выложенный кафелем бассейн-фонтан в центре площади. В чистой, проточной воде неглубокого бассейна, — он помнил, — всегда плавали причудливые, яркие цветов рыбки, а перед ними, опираясь на парапет, всегда толкалась оживленная детвора.

В этот праздничный час площадь была пустыня. Над темными крышами домов холодным светом сияла большая круглая луна. Отражение луны застыло в бассейне. На городских улицах стояла ночная тишина, лишь изредка пересекая площадь, медленно, тесно прижавшись друг к другу, проходили влюбленные пары, но и они, очарованные тишиной и лунным сиянием, шли молча, на минуту-другую останавливались у бассейна и беззвучно, будто растаяв, исчезали в темноте переулков.

Александр Михайлович прикрывал глаза, и перед ним, скатые в какое-то неуловимое мгновение, с космической скоростью, но до удивления отчетливые, одна за другой пролетали картины долгой его жизни, и он вновь, но теперь спокойнее, как посторонний, но заинтересованный зритель, переживал дни своего счастья, юношескую свою любовь, павшие на его долю невозвратимые потери, тяжкие, жестокие, овеянные множеством смертей годы войны и томительные годы одиночества, когда ему вдруг начинало казаться, что в огромном мире уже нет ничего живого, что в этом мертвом, безмолвном мире остался только он один, почему-то обреченный бесконечно доживать никому не нужную, опустошенную, бессмысленную жизнь... Но и теперь, сидя на балконе и удивляясь тому, как все же удалось ему вынести безмерные, казалось бы, невыносимые страдания, он выкуривал сигарету за сигаретой и мысленно повторял с детства знакомые мудрые строки:

— Всё благо: бедения и она приходит час определен-